

Юрий Сушко

Подруги Высоцкого



Биографии великих
Неожиданный ракурс

Биографии великих. Неожиданный ракурс

Юрий Сушко

Подруги Высоцкого

«ЭКСМО»

2012

Сушко Ю. М.

Подруги Высоцкого / Ю. М. Сушко — «Эксмо»,
2012 — (Биографии великих. Неожиданный ракурс)

ISBN 978-5-699-57953-2

Разные женщины окружали великого барда. Они были похожи и в то же время не похожи друг на друга. Их жизненная философия и творческая позиция были различны, но судьбы в той или иной степени пересекались с судьбой Владимира Высоцкого. Их участие, сердечное отношение к Высоцкому, к его таланту кровно роднило. Их голоса перекликались, хотя каждая из женщин вела свою неповторимую сольную партию, что и составляет особую гармонию. Они одновременно являлись и музами, и творцами. У гениального человека и близкое окружение талантливо и неординарно...

ISBN 978-5-699-57953-2

© Сушко Ю. М., 2012

© Эксмо, 2012

Содержание

Белла Ахмадулина:	6
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Юрий Сушко

Подруги Высоцкого

Книга была написана, но сомнения оставались. «Дружба» – слово женского рода, но «друг» несет в себе мужской смысл. «Подруга», «подружка» – нечто легкомысленное...

В свое время Владимир Высоцкий емко сформулировал понятие «дружба»: «Когда можно сказать человеку всё, даже самое отвратительное, о себе». Вряд ли даже этот сильный мужчина, в которого «ходил влюбленный весь слабый женский пол», осмелился бы рискованно признаться «целой половине человечества» в своих слабостях и горьких ошибках.

Пришла на помощь Белла Ахмадулина: «Дружество в особом смысле слова указано, завещано нам Пушкиным... Я по мере жизни не утратила ощущения моей кровной соотнесенности с теми, кого я могу называть своими друзьями, своими товарищами. Но это совершенно не значит, что мы каждую минуту видимся, в обнимку сидим на завалинке или там на диване... Моя верность в дружбе была испытана в некоторых суровых обстоятельствах...»

Ограничу дружеский круг Высоцкого четырьмя женщинами. Не много, но не так уж и мало: «Нас много – нас, может быть, четверо...»

Эти женщины и похожи, и не похожи друг на друга, их жизненная философия и творческая позиция различны, но судьбы каждой так или иначе соприкасались с Владимиром Высоцким, а участие, сердечное отношение к нему, к его таланту их кровно роднило. Их голоса перекликались, хотя каждая из них вела свою неповторимую сольную партию, что и составляет особую гармонию... Они одновременно являлись и музами, и творцами.

Белла Ахмадулина: «Свирепей дружбы в мире нет любви...»

– Доброе утро, Белла. Не разбудил?..

– Володенька, ну что ты?! Рада тебя слышать. Я еще и не ложилась, всю ночь провела в сборах. У нас же сегодня поезд... Помнишь, как у Миши Жванецкого – «мне в Париж, по делу, срочно!»? Вот теперь и мы, благодаря тебе и Марине... Забыл, что ли?

– Вот черт! Забыл, конечно. А во сколько поезд?..

– Да что случилось-то, Володя?

– Ничего особенного, так, ерунда. Но вполне может случиться. Просто мне твой совет нужен.

– Спрашивай.

– Это не по телефону... Давай-ка так: я к тебе прямо на Белорусский подскочу. Договорились?.. Тогда до встречи!

На перрон Высоцкий ворвался стремительно и ловко, как слаломист, лавируя меж вокзальным людом, через мгновение предстал перед Беллой, приобнял, расцеловал и уверенно увлек ее с Борисом за собой в какой-то особый спецбуфет, притаившийся в загадочно-вожде-ленном депутатском зале, где две холеные женщины в парадной железнодорожной форме встретили его как родного; и уже там за чашечкой кофе и рюмкой коньяку Владимир попытался максимально лаконично объяснить суть проблемы:

– Представляешь, моей «Алисе», кажется, кранты. Вчера на коллегии Министерства культуры раздолбали фирму «Мелодия», которая собиралась выпускать альбом по этой сказке. Визжали, что даже профессиональные поэты и композиторы ни черта не могут разобраться в том, что вы там с Кэрроллом и Высоцким насочиняли. И при этом хотите, чтобы наши дети это поняли?! А Сац (ну да, та самая, Наталья Ильинична, наш самый главный спец по детской культуре) вообще в раж вошла, как масла в костер плеснула, потребовала (мне продиктовали, цитирую): «оградить наших детей от чудовищных песен Высоцкого, которые развращают неокрепшие души». Еще один деятель вцепился в строчку «Много неясного в странной стране...» и у Владимирского (это директор «Мелодии») ехидно так спрашивал: «Вы какую, уважаемый, страну имели в виду?» Потом говорит: «А это что за пассаж: «Нет-нет, у народа нетрудная роль: упасть на колени, какая проблема?..» В общем, на «Мелодии» переполох, директор в больнице с инфарктом, наш редактор пишет заявление на увольнение... Вот так, Белла, три года работы коту под хвост! Три года!..

– Чеширскому коту, – вроде бы ни к месту заметила Ахмадулина.

– ?

– Под хвост коту. Чеширскому, – спокойно уточнила она. – Володь, ты не переживай так. Погоди минутку... Что-нибудь придумаем... Мне кажется, я знаю, что можно сделать. Точно! Я придумала! Увидишь, все будет в порядке. Мы всех опередим! Я тебе уже завтра позвоню, всё объясню. Мы обязательно их обыграем, обещаю! Пока не скажу как, чтобы не сглазить...

– Ладно, спасибо. Маринка тебя встретит. А я буду в Париже дня через три-четыре. О'ревуар!

– О! Ты уже делаешь успехи. Au revoir, mon ami!

* * *

...Влетев в гримерку, Сева Абдулов прямо с порога взмахнул, как флагом, свежим номером «Литературки»:

– Володь, читай! Все, считай, мы уже застолбили «Алису»! Теперь они никуда не денутся!
Высоцкий развернул толстую и неудобную для чтения газету, и на третьей полосе в уголке обнаружил святочные заметки «Однажды в декабре», подписанные Беллой Ахмадулиной.
– Ого, привет из города Парижска?

«... Да, в декабре, в теплыни декабря, в жаркий день декабря несколько человек сидели за столом и говорили друг другу добрые слова. Один человек прикрыл глаза рукой и вышел. Он скрывал влажность глаз, но все же сквозь влагу, которой он стыдился, увидел чудный сияющий день, прелесть воздуха и земли, детей, играющих с собакой. Короче говоря, заплакал человек, не знающий, чем отслужить людям и природе за доброту и красоту...»

И вот что сказал мне мой друг и коллега:

– Подлинный тост – это те слова, которые подтверждены сосредоточенностью души на благе и благоденствии человека, о котором ты сейчас говоришь и думаешь. Это твое страстное слово в пользу другого, других.

Я верю во все это. Я хочу, чтобы человек раскрывал уста лишь затем, чтобы сказать доброе слово. Если ночью он не спит и глядит в смутный потолок, то лишь затем, чтобы сосредоточить на ком-то другом добрый помысел, сильный, как колдовство, неизбежно охраняющее чью-то жизнь, чье-то здоровье. А за это, за это – все...

Алиса опять и всегда в Стране чудес, как в моем и в вашем детстве. «Алиса в Стране чудес» – вот еще один подарок – пластинка, выпущенная к Новому году фирмой «Мелодия», пришла ко мне новым волшебством. И как бы обновив в себе мое давнее детство, я снова предаюсь обаянию старой сказки, и помог мне в этом автор слов и мелодии песен к ней В.Высоцкий.

Я клоню к тому, что Новый год – это наиболее удобная пора для людей делать друг другу подарки, любоваться друг другом и желать счастья».

Высоцкий прикрыл ладонью письмо-поздравление Беллы, точь-в-точь совпало, и получилось, как рукопожатие.

Искушенная в пикировках с «инстанциями», Белла сразу поняла: нужно явить миру новость – «пластинка, выпущенная к Новому году фирмой «Мелодия», пришла ко мне новым волшебством»... Невинная фраза. Но все! – обнародован свершившийся факт, и для издателей обратный путь уже был закрыт. Пусть критики затачивают свои гневные стрелы, но выпущены они будут только вослед!

Не зря же объяснял Высоцкий девочке Алисе:

И не такие странности
в Стране чудес случаются!
В ней нет границ, не нужно плыть,
бежать или лететь,
Попасть туда не сложно,
никому не запрещается,
В ней можно оказаться —
стоит только захотеть!..

Поэту Ахмадулиной подобные объяснения были ни к чему. Она сама уже профессионально наловчилась все что угодно растолковывать, «чтобы не попасть в капкан, чтобы в темноте не заблудиться».

Еще до поездки во Францию редактор популярного и авторитетного в те годы еженедельника предложил ей написать небольшое лирическое поздравление читателям в предновогодний номер. Она придумала скромную, невинную притчу о теплом декабре, а потом, уже из Парижа, по телефону упростила дежурного по номеру добавить всего две фразы с неуловимым для непосвященных комплиментом замечательной фирме грамзаписи «Мелодия», ну и Высоцкому тоже, как бы проходя.

Бдительные цензоры усердно вслушивались в черновые записи затеянного актерами авантюрного дискоспектакля по сказке Льюиса Кэрролла в поисках двусмысленностей, намеков, иносказаний. Не находили, но чуяли крамолу. И когда тираж альбома был отпечатан и готов к отправке в торговую сеть, попытались опустить шлагбаум.

Но проиграли. И вынуждены были смириться.

– Севка, тащи шампузею!..

* * *

Белла Ахмадулина замечала за собой: «...Сразу чувствую талант другого человека. Поэта, артиста... Словно яркая вспышка в глазах, в разуме происходит. И я люблю этот чужой талант. Воспринимаю его как собственную удачу, собственный приз. Он на меня действует, как собственное возвышение... Мне кажется, любовь к таланту другого человека – обязательный признак собственных способностей. И если ты любишь талант другого, тебе надо рукой благословляюще махнуть. Это пушкинская черта. Сам состоящий из одной гениальности, как он чувствовал, как любил, как понимал всякий чужой дар!»

Читая и перечитывая «Хижину дяди Тома», юная девочка Белла решила непременно вступить за бедных, угнетаемых плантаторами негров. В пылкой убежденности в своей правоте она отправила в «Пионерскую правду» свои гневные стихи.

Какое счастье, что в газете тогда трудилась чуткая и толковая журналистка, которая тут же ответила Белле: «Девочка, я чувствую, ты очень добрая. Но оглянись вокруг, и ты увидишь, что жалеть можно не только негров». Добрая девочка запомнила фамилию этой женщины – Сидорова. Спустя много лет они встретились. «Я была весьма и весьма взрослая, – грустно улыбалась Ахмадулина. – Вспоминали ту переписку и так смеялись! Но она написала правильно: «Оглянись вокруг. Жалеть-то следует всех».

Кстати, именно «Пионерка» первой напечатала ее первые стихи. Правда, не о неграх. Хотя писала ужасно, но, признавалась Белла, «влекло». Только вот почему? Ведь расположения, особой духовной среды, по сути, не было. Если, конечно, не считать бабушкиных ежевечерних чтений. «У меня, – с нескрываемым восхищением вспоминала Белла, – была замечательная бабушка, Надежда Митрофановна. Слыла слабоумной (как и я, впрочем)... Бабушка восхищалась мною непрерывно. Что бы ни случилось со мной, уж никому я не покажусь столь прекрасной и посильной для зрения».

...Однажды зимним вечером срединного года 70-х прошлого века в мастерской художника Бориса Мессерера на 6-м этаже на Поварской (тогда еще Воровского, или, как говорили «аборигены», Воровскóй) как-то без всякого особого повода, беспричинно собралось обычное дружеское застолье. Без общих тостов выпивали, кто бледнея, кто краснея от водки, без усталости трепались, шалея от собственного вольнодумства, обменивались добрыми новостями, но чаще обидами. Усталый режиссер пытался объяснить поэту, какие сволочи собрались в Госкино, но слышал встречные резоны: «Ты посмотрел бы на тех монстров, которые засели в Союзе писателей и в Главлите...» Спор завершался безжалостным приговором хозяина мастерской: «Всё! Пошли бы вы, ребята, в выставком!..»

В заповеднике московской богемы, в этом «ноевом ковчеге», как в котле, варились все тогдашние властители дум: Василий Аксенов и Булат Окуджава, Андрей Вознесенский и

Фазиль Искандер, Андрей Битов и Михаил Жванецкий, Аркадий Арканов и Григорий Горин, Владимир Войнович и Эрнст Неизвестный, Михаил Рощин и Сергей Параджанов... Мессерер, которого все называли собирателем людей, и его Белла гордились теми, кто был рядом: «Наша компания была уникальна тем, что в ней всегда царил дух какой-то праздничности, приподнятости... Это объяснялось тем, что в нас жило ощущение правого дела, истинности поступка... Царило «дружество и веселье» и «быт в соседях со вселенной...».

В разгар застолья неожиданно, вспоминал писатель Артур Макаров, раздался телефонный звонок. Белла (на правах будущей хозяйки дома-мастерской) подняла трубку и, коротко переговорив с невидимым собеседником, обрадовала присутствующих, что вот-вот, прямо сейчас приедут Володя Высоцкий с Мариной... Вскоре они действительно примчались. И Высоцкий спел только что написанную песню «Баллада о детстве».

Час зачатия я помню не точно.
Значит, память моя – однобока,
Но зачат я был ночью, порочно
И явился на свет не до срока.
.....
В те времена укромные,
Теперь почти былинные,
Когда срока огромные
Брели в этапы длинные...

«Баллада произвела фурор, – порадовался за своего друга Макаров, видя реакцию на песню ее первых слушателей. – Потом Высоцкий еще что-то пел. Все сидели за столом... Там был длинный стол, а дальше – проем со ступеньками, ведущими выше, в мастерскую. Я увидел, что Белла сидит на этих ступеньках и что-то пишет. Володя пел, пел, пел, а когда отложил гитару, Белла без всякого предварения – без всякого! – стала читать свои новые стихи. Получилось такое невольное вроде бы соревнование. Она так зажглась, и в то же время так ревновала к этому вниманию, что даже не сумела дожидаться, пока воцарится молчание, и своим небесным, срывающимся голосом начала читать поразительные стихи...»

Может быть, это был «Маленький самолетик»? *«А то глаза открою: в ряд – все маленькие самолеты, как маленькие Соломоны, все знают и вокруг сидят...»?*

Может быть. Хотя вряд ли, просто по настроению созвучно балладе Высоцкого.

Когда «Самолетик» появился в печати, «кабинетные читатели» были им весьма недовольны, а журнал «Крокодил» даже попытался поизмываться, расстраивалась Ахмадулина. Ведь зародилось это стихотворение, видимо, еще тогда, «когда я во время войны из бомбоубежища увидела маленький самолет. На нем скрестились лучи, а дальше все говорили, что самолет сбили. И мне было его страшно жалко. Ощущение ребенка, который жалеет нечто маленькое, незащищенное. Многие говорят: не люблю, когда меня жалеют. А я вот думаю: человек очень нуждается в жалости и сострадании. Не угнетение, не понукание, но именно поощрение жалостью, любовью, глазами, лицом... Господи, думаю я, если бы нам немножко милосердия, жалости, сострадания друг к другу, то много бы мы все выиграли. Это бы и на хозяйстве сказалось, и на речи нашей, и, главное, на той драгоценности, которую нам никак нельзя терять. Я имею в виду умы и таланты людей, которые приходится нам современниками, соотечественниками...»

Немудрено, что в детских судьбах Высоцкого и Ахмадулиной было столько совпадений. Они ведь были почти ровесниками, с почти незримой разницей всего лишь в девять месяцев. *А «девять месяцев – это не лет...»*

Когда Иосиф Бродский представлял Беллу американским читателям, он говорил, что рождение Ахмадулиной в «мрачнейшем году советской истории... является подтверждением

изумительной жизнеспособности русской литературы». В полной мере эти слова можно было бы отнести и к Владимиру Высоцкому, чей вклад в русскую словесность не менее высоко оценивал нобелевский лауреат.

«Правильно я родилась, – размышляла вслух Белла Ахатовна, – 10 апреля 1937 года. День моего рождения не может быть для меня неважным. И год рождения не может быть неважным – все-таки кто-то родился, выжил, уцелел. Потом была война, всеобщее бедствие, смерть. И я чуть не умерла в эвакуации в Казани. Но ведь кто-то меня накормил в ущерб себе и своим детям, кто-то спас. Я, собственно, даже не знаю кто, но отношу это спасение ко всему великодушному человечеству. Нет-нет, правильно я родилась...»

Высоцкий, в первый раз получивший *«свободу по Указу от тридцать восьмого»*, возражая жестокому веку, пел:

Но родился и жил я – и выжил.
Дом на Первой Мещанской – в конце...

А Ахмадулина откликалась:

Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою –
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моем и на их языке...

Во время одной из домашних встреч они, случайно отстранившись от шумных приятелей, с головой окунулись в свое военное детство, вспоминали эвакуацию. Володя с мамой в те годы оказался в Бузулуке, Белла – всего в четырехстах верстах от Оренбуржья, в Башкирии. «И это навсегда осталось во мне, – вспоминала она, – теплушка на Уфу, и как солдат везут на фронт – в обратном направлении. Сейчас я думаю, что и тогда я понимала, какая гибель предстоит: почти никто из этих мальчиков не вернулся... Я была резвым здоровым ребенком – такие стихов не пишут... Первые мои годы я проживала в доме, где без конца арестовывали людей. А мне велели играть в песочек. Я не могла знать, не могла понимать, что происходит, но некий след во мне остался. Даже неграмотный, но очень тонкий слух ребенка многое улавливает».

А в чутком ухе другого малолетнего будущего поэта занозой вонзался разговор соседей по коммуналке:

«...Эх, Гиська, мы – одна семья,
Вы – тоже пострадавшие!
Вы – тоже пострадавшие,
А значит, обрусевшие,
Мои – без вести павшие,
Твои – безвинно севшие!...»

Из скромности, упрямства или невнятной обиды на взрослый мир маленькая Белла долго не говорила, и едва ли не первым осмысленным сочетанием слов, слетевшим с детских губ,

было восторженное «Я такого не видала никогда!» в тот миг, когда девочка впервые увидела тюльпаны.

«С раннего детства, – вспоминала Ахмадулина, – мне запомнился шар, беспомощно запутавшийся в ветвях, огромные оранжевые лепестки букета маков, облетевшие при первом порыве ветра... Это ощущение хрупкости всего на свете во мне очень сильно и сегодня, и я думаю, что в этом ощущении-отчаянии есть какой-то смысл, какая-то поучительность. Ну хотя бы в том, что красота не есть то, чем ты должен обязательно владеть, что вообще всякое владение чем-то не прочно».

Хотя и говорила, что «такие стихов не пишут» – но писала, опять-таки – «влекло». Школьницей бегала во Дворец пионеров на Покровском бульваре, в драматическую и литературную студии попеременно. И много позже признавалась: «Два эти амплуа и теперь со мной».

С «Пионерской правдой» юной Ахмадулиной, конечно, повезло, но вот с главной «Правдой» – увы...

Когда по настоянию родителей Белла собралась поступать на факультет журналистики в МГУ, угрюмые члены приемной комиссии на собеседовании поинтересовались у абитуриентки содержанием сегодняшней передовой статьи органа ЦК КПСС и были обескуражены, к своему немалому изумлению, обнаружив, что дерзкая девица вообще не читает этой газеты. Добро еще, самый-самый мудрый из них тихо посоветовал юной сумасбродке поскорее забрать документы из университета. Возможно, тем самым сохранив ее для Поэзии.

Мне скакать, мне в степи озираться,
Разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
До сих пор колобродит во мне...

О своих корнях Белла знала от бабушки. Прадед по материнской линии – итальянский шарманщик, «южной мрачностью дикого взора растливший невзрачную барышню, случайно родил сына Митрофана недалеко от Казани, где его чужой, немыслимый брат по скудному небу, желтый и раскосый, уже хлопотал, вызывая к жизни сына Ахмадуллу, моего прадеда по отцовской линии...».

Мои близкие выжили, полагала Белла, потому что бабушкин брат Александр Стопани считался каким-то дружкой Ленина. Остальные братья были, к счастью, других убеждений, но не они победили. Кто погиб в Белом движении, кто смог – уехал. Но о них молчали, скрывали.

Бабушка тоже была знакома с Лениным. Однако при этом терпеть его не могла. Тут довольно забавно: уходя на работу, мама наказывала бабушке: «Расскажи Беллочке про Ленина». Бабушка – редкостно добрый, сердечный человек, но воспоминания о Ленине у нее остались плохие. И внучке она простодушно их пересказывала. Барышней она носила туда-сюда прокламации, за что ее даже выгнали из дома. Потом бывшая гимназистка поступила на фельдшерские курсы, стала сестрой милосердия. В памяти сохранились обрывки истории о какой-то маевке. Почему-то бабушка в гимназической форме вместе с Лениным переплывала Волгу. И он, сам ссыльный, все время кричал на еще одного человека в лодке: «Гребец, гребь!» Бабушку удивляло, что он сердился, а не пытался помочь. «Я, – признавалась Белла, – не очень понимала, что это «гребь», но рассказ странным образом ужасал мое воображение: «Гребец, гребь!..»

– «Гребь, гребец...» – от души хохотал Высоцкий, слушая рассказ Беллы. – Знаешь, Белл, ты мне навееяла... Когда учился в школе-студии, я развлекался всякими баечками, которые придумывал на ходу. Тренировался в фольклоре, так сказать, детские сказки сочинял. Кстати, и о Ленине тоже... Плыли по Нилу три крокодила. Черт его знает, куда они направлялись... Но долго плыли. Один, правда, потом утонул в Красном море, второй выплыл, а третий...

стал секретарем райкома партии... И вот плывут эти крокодилы, плывут, глядь, а на ветке золотой сидят два медведя. Один, кудрявенький такой, смотрел на небо, а второй качал ногой. Оказалось, кудрявенький – это был Ленин, а тот, что с ногой, – Александр Второй... Ну и так далее. В общем, чушь, конечно, дикая. Но меня за нее... Помнишь, дело Синявского?

– Обижаешь, Володя.

– Ну так вот, Андрей Донатович читал нам курс лекций по русской литературе, а дома слушал наши песни. Когда его взяли, при обыске забрали пленки с записями, а там, кроме песен, были и эти мои шутейные рассказы... Еле отвязались... Но вони было много...

Ахмадулина взгрустнула, о чем-то вспомнив, и на этой ноте завершила свой «мемуар»:

– Бабушка моя довольно скоро разочаровалась в революционерах, поняв, что они не только любят убивать, но еще и нечисты на руку. Ей, кажется, предлагали вступить в условный брак, вывезти что-то в Швейцарию... Хотя зачем я вообще завела этот унылый разговор про Ленина? Сама не знаю. Мне противно о нем даже думать...

Размышляя о поколении поэтов, рождавшемся в конце 30-х годов, Иосиф Бродский говорил: «...Мы все пришли в литературу Бог знает откуда – ... из умственного, интеллектуального, культурного небытия. И ценность нашего поколения заключается именно в том, что, никак и ничем не подготовленные, мы проложили эти самые, если угодно, дороги. Дороги – это, может быть, слишком громко, но тропы – безусловно. Мы действовали... исключительно по интуиции. И что замечательно – что человеческая интуиция приводит именно к тем результатам, которые не так разительно отличаются от того, что произвела предыдущая культура, стало быть, перед нами не распавшиеся связи времен... Это, безусловно, свидетельствует об определенном векторе человеческого духа...»

* * *

Азата Ахмадулина, в молодости баловавшегося журналистикой, фиаско дочери, разумеется, крайне огорчило. Мама, женщина боевая и настырная, унынию не предалась и, включив свои связи, пристроила девочку в многотиражку «Метростроевец» набираться ума-разума. Но поскольку родители были люди донельзя занятыми (папа занимал очень немалый пост в таможенном ведомстве, а мама в звании майора служила переводчицей в КГБ), дальнейшее просвещение и воспитание Беллы по-прежнему возлагалось на бабушку.

Только всему этому Белла предпочитала занятия в литературной студии при ЗИЛе, которой руководил молодой и энергичный поэт Евгений Винокуров. Он и подтолкнул девушку к поступлению в Литературный институт имени Горького (кажется, единственное подобное учебное заведение в мире, готовящее профессиональных писателей). Впрочем, позже Ахмадулина скажет: «Не думаю, что этот институт содействует правильному выявлению и воспитанию талантов...» И уточнит: «Если меня чему-то научил Литературный институт, так это тому, как не надо писать...»

– Помню ее совсем девчонкой, – рассказывал поэт Кирилл Ковальджи. – Я старше, окончил Литинститут и уже работал в Кишиневе, когда она поступила на первый курс. В один из приездов в Москву я заглянул на Мещанскую к Жене Евтушенко, он сразу восторженно сообщил, что в институте сенсация – появилась гениальная поэтесса. Он решил немедленно познакомить меня с ней. Как-то не верилось, что она может написать что-то дельное... Слово за слово, стали читать стихи. И тут Белла меня поразила трижды. Во-первых, стихами, удивительно свежими, новыми, легкокрылыми. Во-вторых, своим неповторимым голосом – как напряженная струна. В-третьих – спокойной самоуверенностью, с которой она держалась и выражала свое мнение. Словно эта девушка уже знала, кто она такая и какое место ей уготовано в русской поэзии...

Вся наша роль – моя лишь роль.
Я проиграла в ней жестоко.
Вся наша боль – моя лишь боль.
А сколько боли, сколько, сколько!

Пока еще как бы сторонний наблюдатель, но очень заинтересованный, неудержимо тянувшийся к зрелищу и стиху будущий актер и будущий поэт Высоцкий вспоминал конец 50-х – начало 60-х годов: «Был удивительный, ну просто невероятный интерес к чистой поэзии. Когда появлялись афиши с именами Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Булата Окуджавы, то невозможно было достать билет в Лужники, где двенадцать тысяч человек... Забывались полностью Лужники... Стояли километровые очереди около Политехнического музея. И такой интерес к чистой поэзии – просто к тому, что поэты читают свои стихи «живьем», без музыки, а просто читают стихи – это... Этот интерес есть только в России, и он традиционен. И, наверное, не только потому, что у нас такие замечательные поэты, что они такие великие стихотворцы, но, наверное, еще и потому, что они себя всегда очень прилично в жизни вели. И были достойными гражданами, приличными людьми... И поэтому поэзия всегда во главе литературы стоит...»

Сама Белла, выступая перед большой аудиторией, ощущала, что люди собирались здесь не только для того, чтобы услышать поэзию в чистом виде, «а просто от поэта ждали какого-то ответа...».

К завистникам, недоброжелателям и клеветникам относилась снисходительно, с иронией. «Если всерьез к ним относиться... то на это можно жизнь потратить... Я их никогда не боялась, и не потому, что я такой бесстрашный человек. Они сами сделали меня известной, – озорно улыбалась Ахмадулина. – Когда я еще училась в институте, выходили сумасбродные статьи обо мне – «Чайльд Гарольд с Тверского бульвара», «Верхом на розовом коне»... Я в тех фельетонах видела даже добрый знак. Те, кто создавал эти фельетоны, создали одновременно мне ту известность, с которой потом не могли совладать... Читатели заинтересовались. Какая-то причудливая фамилия, кто такая эта Белла Ахмадулина? А потом известность мне никогда голову не кружила, просто по моему природному устройству. Разве что она мне создавала своеобразную охрану, потому что подчас без нее мои многие поступки могли бы повлечь более тяжкие последствия...»

Главный урок лет, проведенных Ахмадулиной в Литинституте, для нее состоял в научении не только тому, как не стоит писать, но и как не стоит жить. «Моя юность как раз пришла на то время, когда травле подвергался Пастернак, я видела, что потом происходило в душах тех людей, которые приняли в ней участие, – вспоминала Белла. – Они медленно изнутри самоуничтожались. Наблюдая их жизнь и жизнь тех, кого я отношу к избранникам Божиим, я понимаю, что добродетели одних в какой-то мере искупают вину других. Я когда-то написала: «Способ совести избран уже, и теперь от меня не зависит». Я поняла, что жизнь – это отчасти попытка отстоять суверенность души: не поддаться ни соблазнам, ни угрозам».

Именно тогда она впервые столкнулась с тем, что человеку предлагают сделать выбор. Или поступить – как все? То есть отречься и дальше остаться со своей разрушенной совестью? Или попробовать сохранить чистоту помыслов своего отношения к предмету.

И приняла как обет: «Человек, который пишет стихи, да и любой художник, вряд ли рационально следит за собой, но он должен в неусыпном напряжении соотноситься с собственной совестью... Когда я думаю про подлинно великих, мне кажется, что ни один из них не стоял на крайних границах раздвоения, потому что совершить какой-нибудь безнравственный поступок, принять форму грешную просто невозможно... Нужно пристально в себя вглядываться. И поступать именно так, а не иначе, даже в ущерб своему относительному благоден-

ствию. Я так и делала, потому что знала: слово покинет, покинет человека, если он поступится собою, тем, что есть в душе, в угоду корысти, уюту, чему бы то ни было...»

Высоцкого тоже посещали эти сомнения, и он по-своему предостерегал от искушений слушавших его людей. Счастье – не иметь выбора, значит, не уметь отречься:

Вам будут долго предлагать
не прогадать.
– Ах! – скажут. – Что вы?
Вы еще не жили!
Вам надо только-только начинать.
Ну, а потом вопрос предложат:
или – или...

Для Ахмадулиной Пастернак был иконой: «Лицо его и голос – вот перед чем хотелось бы не провиниться, не повредить своей грубой громоздкостью хрупкости силуэта».

Ей с болью и сожалением довелось видеть своих однокашников, «молодых людей, которые по совету самого великодушного Пастернака поступили так: он советовал не усугублять его страданий и поступить, как велят. Он не хотел брать на себя еще и печали молодых людей. Но те, кто сделал так... страшно прогадали в своем жизненном назначении, разрушение личности наступило так быстро, прямо на моих глазах. И стало убедительным, что потом превозмочь поступок такого рода никаких сил не будет, что стихи этого не простят, они не вернуться, и то, что ты призван был написать, – не напишешь. Себя вокруг пальца не обведешь...».

Когда Белла наотрез отказалась подписывать письмо, осуждающее присуждение Борису Пастернаку Нобелевской премии, ее ловко лишили студенческого билета. Объяснив ей исключение из Литинститута «скверной неуспеваемостью по «общественным дисциплинам»: у нашей преподавательницы по диамату был диабет, и я постоянно путала одно с другим...».

Опять-таки, к счастью, нашлись сердобольные люди. Сергей Сергеевич Смирнов, работавший в то время главным редактором «Литературной газеты», предложил ей, «как бы исключенной из жизни», поработать внештатным корреспондентом в Сибири, развеяться. Прямо он не говорил, но подразумевал: побереги себя, дурашка, сгинь от греха подальше на какое-то время. А там, глядишь, все образуется. После некоторых раздумий она согласилась – и поехала.

«Дочери и внучке московских дворов» захотелось преодолеть пропасть между представлением о ней и ее истинной сущностью. В бесплодном споре между «почвой» и «асфальтом» ей не нравилось быть «символом городской умственно-витиеватой и неплодотворной жизни». Она бродила по грохочущим цехам Новокузнецкого металлургического комбината, любовалась дымами Новосибирска, которые, конечно же, казались ей удивительно красивыми и загадочными.

Через год Белла вырвалась «из глубины сибирских руд» – по ходатайству Союза писателей ее восстановили в институте, и вскоре она на «отлично» защитила дипломную работу «Стихи и переводы». Как позже язвительно заметил Иосиф Бродский, Ахмадулина совершенно без вреда прошла через Литинститут имени Горького, превращающий соловьев в попугаев.

В самом начале 60-х годов, в «оттепель», режиссер Марлен Хуциев затеял съемки фильма «Застава Ильича», позже вышедшего на экраны под названием «Мне 20 лет». Чтобы у зрителей возникало ощущение, будто они как бы смотрят хронику своей жизни, в качестве приметы времени режиссер снял поэтический вечер в Политехническом музее. На 15 минут сюжет фильма замер в одной точке: героини сидели в битком набитом зале и, затаив дыхание, слушали стихи, которые читали Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина. Булат Окуджава пел о комиссарах в пыльном шлеме...

Белла самая молодая из них – ей всего лишь 25. Она читает свое стихотворение «Дуэль». Ее хрустальный голос дрожит, вибрирует. Высоко и гордо вздернут подбородок. Когда Ахмадулина читала, люди замороженно смотрели на нее, вспоминал молодой писатель Владимир Войнович. Это было зрелище, состоящее из слов, тембра голоса, осанки и манеры чтения поэтессы. Особый вид искусства.

Ей всего 25. И вот – «Дуэль»:

Чем я утешу пораженных
Ничтожным превосходством зла,
Прославленных и побежденных
Поэтов, погибавших зря?
Я так скажу: не в этом дело,
Давным-давно, который год
Забыли мы иль проглядели,
Но всё идет наоборот!

Только-только, на днях вышел ее первый сборник «Струна». Ее отечески напутствует старейшина поэтического цеха Павел Григорьевич Антокольский: «Здравствуй, Чудо по имени Белла, Ахмадулина, птенчик орла!»

Впервые увидев ее на экране в эпизоде хуциевского фильма, кинематографисты тотчас зацепили необычный облик юной женщины своим зорким и хищным оком. Одним из первых среди них оказался Василий Шукшин.

Встреча молодых талантов, безусловно, была предопределена, как двух полюсов. Над Василием – неуверенным, бездомным и неприкаянным, начинающим режиссером и писателем – пытались шефствовать признанные интеллектуалы Тарковский и Андрон Кончаловский, выводя его «в свет». А Белла сама источала благополучие, успех и независимость. Москва была ее городом, ее знало множество домов.

Шукшин, тоскуя по своему алтайскому приволью, не желал воспринимать «интеллигентную заумь» изящного поэта и в то же время к ней тянулся. А она с азартным любопытством и кокетством посматривала на него, как старатель на диковинный самородок. Оправдываясь: «Всякий человек рожден в малом и точном месте родины... Но художественно он существует – всеземно, всемирно, обратив ум и душу раструбом ко всему, что есть, что было у человечества».

После нескольких встреч они стали близки и неразлучны. Про интимные причуды Беллы по Москве в ту пору ходили слухи. Завистники и завистницы сплетничали, что она нимфоманка. И, наверное, алкоголь, неспроста же носит имя Белка...

«Мы были разные люди, – изредка, но все-таки рассказывала Белла. – Он страшно мыкался. Можете представить, каково человеку, да еще из деревни, да еще сыну репрессированных?.. Никто теперь не может сказать в точности, что мы делили, из-за чего бранились... У него действительно были комплексы. Пастернак, например, ему казался слишком интеллигентским. Напротив, мне же Пастернак кажется удивительно народным поэтом...»

Трудно сказать, что чувствовал Шукшин, когда краем уха слышал, как Белле пеняли богемные мальчишки: «Белла, как можете вы, такая тонкая, утонченная, интеллигентная, общаться с этим сибирским сапогом?» А он, лапотник, всё угнетал себя до гениальности...

Когда Василию Макаровичу наконец удалось добиться права снимать первый полнометражный фильм по своему сценарию «Живет такой парень», то роль Журналистки он робко предложил именно Ахмадулиной. Прочтя сценарий, она поняла: в представлении автора Журналистка была «безукоризненно самоуверенная, дерзко нарядная особа, поражающая героя даже не чужеземностью, а инопланетной столичностью обличья и нрава».

Ей удалось переубедить Василия, и «из отрицательного персонажа Журналистка стала положительным, из городской мерзавки превратилась в застенчивого человека со своей трагедией. Ведь главное, кто хороший и кто плохой, а город ли, деревня – это все вздор. И Шукшин сделал фильм иначе...».

Хотя отправляться вместе с ним в киноэкспедицию на неведомый Алтай Белла отказалась категорически, и эпизод в больнице, где журналистка Ахмадулиной беседует с главным героем картины Пашкой Кокольниковым, пришлось снимать в павильоне «Мосфильма».

Во время съемок Шукшин щеголял в сапогах и фуфайке. Репей рядом с хризантемой. Белла стеснялась ходить с ним вместе в приличные дома, и однажды уговорила Василия выкинуть в мусоропровод треклятые кирзачи и купить костюм, галстук и туфли. Но на том их отношения и окончились...

К слову, в дебютном фильме Шукшина на съемочной площадке Ахмадулина вполне могла бы встретиться с Высоцким. Во всяком случае, в своих публичных выступлениях Владимир Семенович не раз вспоминал, что «Шукшин хотел снимать его в роли Колокольникова, однако пообещал роль Леониду Куравлеву». Так и не сложилось. «Но очень уважаю все, что сделал Шукшин, – подчеркивал Высоцкий, – знал его близко, встречался с ним часто, беседовал, спорил... И мне особенно обидно, что так и не удалось сняться ни в одном из его фильмов».

Что же до Беллы – не беда, с ней Владимир еще встретится, и очень скоро.

В младенческом своем возрасте Театр на Таганке не только исполнял профессиональную зрелищную функцию, но и, будучи своего рода «островком свободы», был, по выражению одного из ветеранов таганской сцены, клубом порядочных людей. Сюда приглашали талантливых ученых, которые просвещали театральную молодежь своими новаторскими идеями, космонавтов, неординарных творческих личностей – Енгибарова, к примеру, или музыкантов «новой волны» – того же Алексея Козлова с его «Арсеналом», здесь устраивали свои выставки художники-нонконформисты. Ну и, конечно же, сюда валом валили поэты, которые на подмостках, потеснив «Доброго человека из Сезуана», читали свои новые стихи, словно приглашая актеров попробовать – да вот же он, зародыш будущего поэтического спектакля, прямо перед вами. Таганку называли антитюрьмой, оазисом в пустыне, для кого-то театр был глотком горного воздуха в смраде океана паточной лжи. Там Высоцкий впервые вживую слушал стихотворные изыски Беллы, а она сопереживала сценическим героям актера и открывала для себя его песни...

Находя много общего в судьбах Василия Шукшина и Высоцкого, Ахмадулина говорила: «Великий человек всегда уходит в свой срок. Они прожили с такой силой, исчерпывают свою жизнь до того, что я действительно не знаю, «что, если бы да кабы». Они умерли потому, что жизнь кончилась».

Но пока до безжалостных выводов о своевременности ухода талантов, к счастью, было еще очень далеко. Жизнь продолжалась, и как азартно!

Расставшись с Евгением Евтушенко, переболев Василием Шукшиным, Белла безоглядно увлеклась преуспевающим прозаиком Юрием Нагибиным, который ревновал ее и к прошлому, и к происходящему сегодня, и даже к будущему. А в своем тайном дневничке он описывал ее порочной, пьяной, полубезумной, наградив ее именем булгаковской вампириши Геллы, но такой любимой, бесконечно любимой: «А Геллы нет, и не будет никогда, и не должна быть, ибо та Гелла давно исчезла... Но тонкая, детская шея, деликатная линия подбородка и бедное маленькое ухо с родинкой – как быть со всем этим? И голос незабываемый, и счастье совершенной речи, быть может, последний в нашем повальном безголосье, – как быть со всем этим?»

Писатель знал прекрасно, что заблуждался, но упрямо твердил: «Основа нашего с ней чудовищного неравенства заключалась в том, что я был для нее предметом литературы, она же была моей кровью». Был беспощаден и пристрастен: «Она не была ни чистой, ни верной, ни

жертвенной, дурное воспитание, алкоголизм, богема, развращающее влияние первого мужа, среды ли изуродовали ее личность, но ей хотелось быть другой, и она врала не мне, а себе...».

Бессмысленно спорить. Ведь, может быть, Юрий Маркович серчал на свою «Геллу» из-за неудачных попыток творческого бракосочетания. Альянс и впрямь таил в себе «брак». Неудачной оказалась их совместная попытка экранизировать ранние рассказы Нагибина. Сценарный опыт Ахмадулиной не удался. Фильм «Чистые пруды» даже лояльные критики окрестили «свободным поэтическим впечатлением от прочитанной вещи». Им показалось, что «на экране идет литературный вечер. Увы, именно концертностью отмечен приход поэзии в эту картину. Но война вовсе не концертна. И не концертна судьба поколения, о котором взялись говорить авторы. Картина «Чистые пруды» воспринимается не как неудача, а как горькое заблуждение. Заблуждение формы, но прежде всего мысли...»

После успешного и громкого дебюта отечественные издатели крайне настороженно относились к новым рукописям, предлагаемым Ахмадулиной. Ее второй сборник – «Озноб» – появился лишь спустя шесть лет после «Струны». Причем в «тамиздате», во франкфуртском эмигрантском издательстве «Посев». Она умудрялась ввязываться в самые разные рискованные затеи той поры. Публиковала свои стихи в самиздатовском журнале «Синтаксис», который издавал в подпольной московской типографии Александр Гинзбург. Направо и налево давала легкомысленные интервью охочим до «несогласных» западным журналистам. За своеобразие приходилось расплачиваться вынужденным молчанием.

И тогда, вспоминала она, приходилось зарабатывать деньги своими концертами. По столицам не разрешали выступать, но откуда-то было известно, что в центре нельзя, а в Кишиневе, скажем, можно. Разрешали, чтобы знать, куда она все-таки делась и чем занимается... Когда выступала в Свердловске, в афише вообще значилось: «Поет Белла Ахмадулина». «Выхожу на сцену, начинаю читать стихи, – с нервным смехом рассказывала она друзьям, – и вдруг какой-то мужик из заднего ряда орет: «Слушай! А когда петь-то будешь?»»

Белла любила повторять: в душе я – сенбернар, а на сцене – Сара Бернар, напоминая о своем втором «амплуа».

В самые тяжкие минуты выручали и переводы. Как чувствовала, выбирая в свое время тему дипломной работы. К тому же поучительны были примеры Бориса Пастернака и Анны Ахматовой.

Меня терзала жизнь, нужда,
Страх поутру, что всё сначала.
Но Грузия меня всегда
Звала и выручала, –

писала Белла. И признавалась: «Тбилиси... Некогда любила, как ни одно другое место на земле. И ни с одной речью не общалась так близко, как с грузинской. Переводила Галактиона и Тициана Табидзе, Симона Чиковани, Ираклия Абашидзе, Анну Каландадзе... Грузинский язык очень труден для славянской гортани, но он податлив к каламбурам, как русский, и мы с моими друзьями нередко шутили, используя вступающие в игру слова непохожих лексик...»

Грузия отвечала ей любовью. Критика Георгия Маргвелашвили, обожавшего поэзию Беллы, в литературных кругах Тбилиси друзья называли «БЕЛЛОгвардейцем».

Однако никогда, нигде и ни под каким предлогом она не отступала от своих принципиальных убеждений. Когда во время одного из застолий в честь русских поэтов, нагрянувших в Тбилиси на очередную «декаду», один из москвичей поднял кубок вина за великого сына грузинского народа товарища Сталина, Белла, сидевшая на другом конце очень длинного стола, сдернула туфельку и, прицелившись, метко вlepила «специалисту по гражданской поэзии»

Владимиру Фирсову точно в лоб. Правда, вслед за этим за столом вспыхнула маленькая гражданская война. Но быстро закончилась всеобщим братанием...

* * *

Преподнося в подарок Высоцкому свой стихотворный сборник «Уроки музыки», Ахмадулина написала: «Володе Высоцкому с просьбой располагать моей дружбой и приязнью. 1969 год».

Она когда-то пожаловалась ему: «У меня никогда не совпадало писать и выступать... Когда стою на сцене, то понимаю это. Но когда передо мной лист бумаги, я этого страшусь и не хочу... Выступаю с совершенной доверительностью к публике. Во внимательных и взыскательных слушателях узнаю пристальных и просвещенных читателей. Знаю, что люди нуждаются в ободрении, утешении, в человеческом слове. Да и сам **голос – изъятие души**... Я надеюсь, что в мои глаза можно смотреть, а главное – я смею поднять их на людей... Сейчас твердо знаю – дело поэта сидеть за столом. Правда, я могу думать и в очереди. Ведь в толчее близлежащего Новоарбатского гастронома я думаю о своем».

Высоцкий тоже думал о своем и в толчее Елисеевского, и в гаме шального таганского кабака «Кама», и в гулком салоне «Ила» во время рейса Москва – Одесса. Одно лишь разило поэтов – он не мог подарить ей сборник своих стихов с дарственным посвящением. Компенсировать отсутствие зримых текстов приходилось такими же, как у Беллы, встречами со своими зрителями и слушателями, которых ему хотелось назвать читателями.

Высоцкий не называл свои выступления концертами – он говорил «встречи». И объяснял: «Я нарочно прошу зажечь свет в зрительном зале, чтобы видеть ваши глаза. Потому что поддержки нет оркестровой – есть только гитара, есть ваши глаза и есть то, что я вам хочу рассказать. Поэтому всегда хочется видеть глаза и чувствовать настроение... И в зависимости от этого настроения – я же ведь сам хозяин – я могу ее спеть быстрее, медленнее, придать другую окраску. Потом, это мои слова... Глядишь, какое-нибудь выкину, какое-нибудь вставлю. Чего хочу, то и делаю, верно? Это мои слова...»

Они как будто бы вели неслышимый для других внутридушевный диалог. «Так мне в угоду вам легко взлететь на сцену! – писала Ахмадулина. – Не верьте мне, когда я это говорю».

Конечно, когда она выходила перед тысячной толпой, думалось, что даже от вспышки софита она дрогнет, пошатнется. Но вот она у микрофона...

И Высоцкий отзывается камертоном:

Я весь в свету, доступен всем глазам, —
Я приступил к привычной процедуре:
Я к микрофону встал, как к образам...
Нет-нет, сегодня точно – к амбразуре.

Так откуда у нее вдруг берется эта сила, эта власть? Зал уже охвачен чувством некой вселенской «невесомости», уже застыл в ее власти, покорившись ее поэтической силе.

Потом я вспомню, что была жива,
Зима была и падал снег, жара
Стесняла сердце, влюблена была –
В кого, во что?..

В людей. В мир. В свое Переделкино. В слово. В Бориса Пастернака, которого не предала, которого встретила однажды на тропинке и не посмела представиться. В Высоцкого, в которого верила.

Белла Ахмадулина утверждала, что связь со слушателями «образует очень драматическую взаимность. Мне доводилось видеть увлажненные глаза, и, конечно, тут дело, может быть, не во мне. Но я – случайный посредник между мной и той частью человечества, во всяком случае, его отечественной части, тот самый посредник, который может приходиться утешителем тех, кто чурается пошлости, кто изнемог от грубого юмора или от оскорбительного искажения русской грамматики. Наверное, во мне никогда не было честолюбия, я хоть и резвая, но, в общем, я застенчивая, все-таки даже на сцене стараюсь как-то держаться словно в стороне, словно в какой-то тени, хотя при свете ламп...»

– Дружили... – вздыхала Белла Ахатовна, вспоминая Высоцкого. – Вот на этих ступеньках он сидел, читая нам свои стихи и совершенно искренне горюя об их неиздании. Я очень старалась ему помочь, пробить туманное и непонятное сопротивление официальных лиц. Но что я могла?.. А как ждал Володя своей книги при жизни, как удивительно наивно, по-детски хотелось ему увидеть свое слово напечатанным...

Какой прекрасный поэтический поединок, творческая дуэль или турнир мог состояться в свое время между Беллой Ахмадулиной и Владимиром Высоцким в экспериментальном фильме братьев Элема и Германа Климовых «Спорт, спорт, спорт», в котором самым органическим образом вплетался философско-поэтический диалог о природе спорта.

Идея потенциальным «дуэлянтам» понравилась, и они сразу же согласились работать вместе. Однако Высоцкий затянул с выполнением заказа, и Белле пришлось выступать соло.

Но все-таки идея воссоединить на экране, казалось бы, несовместимый, а посему еще более заманчивый дуэт Высоцкого и Ахмадулиной витала и манила. Ее подхватила кинорежиссер Лариса Шепитько. Начиная свой новый фильм «Ты и я», она видела в роли главной героини только Беллу. А ее партнерами – Владимира Высоцкого и Юрия Визбора. Жаль, но в силу многих обстоятельств постановщику пришлось искать замену сначала Высоцкому, а потом последовал черед и Ахмадулиной.

Но за Беллу Лариса Шепитько держалась отчаянно. Текст героини фильма в ее исполнении звучал совершенно непривычно! «Она, – рассказывал Визбор, – называла меня Сашей, читая вслух свои места в диалогах. Мы репетировали с Беллой два месяца. Места для репетиций были самые разные – дом Ларисы, моя квартира, «Мосфильм» и даже поляна в Ситеневе, где на берегу водохранилища в палатках отдыхали мои друзья – альпинисты, автогонщики, воднолыжники. Да, в общем, это был роман, конечно, предчувствие счастья работы, время совместных чаепитий, цитирование мест из еще не сыгранных и не снятых мест сценария...»

Однако последовал категоричный запрет Госкино на участие в фильме «непрофессиональной актрисы». А так как приказ о запуске картины в производство был уже подписан, на поиски актрисы оставался всего один вечер. Выручила Алла Демидова. Но получился совсем другой фильм, который на экране не узнала даже режиссер-постановщик.

* * *

...Сколько раз Белла уже смотрела «Доброго человека из Сезуана»? Пять, шесть? Или все десять?.. Но сегодня спектакль был особенный – им театр знаменует свой 10-летний юбилей. И все волнуются, словно дебютанты. Даже многоопытный Любимов, даже Высоцкий, который вон как неловко дернулся в сцене свадьбы, заехав пиалой в глаз Водоносу-Золотухину.

А после спектакля был банкет в «верхнем буфете» и обязательный концерт-капустник. Высоцкий пел свой фантастический «Театрально-тюремный этюд на таганские темы»:

Пьем за того, кто превозмог и смог,
Нас в юбилей привел, как полководец.
За пахана! Мы с ним тянули срок –
Наш первый убедительный «червонец».

Потом были другие, тоже прекрасные тосты. У всех были счастливые лица, и каждый чувствовал себя дома.

Когда объявили перекур, случайной компанией пошли в гримерку Высоцкого. Болтали так, о пустяках. Потом Смехов с загадочным видом извлек из недр шкафа бутылку коньяку, а Золотухин стаканы. Самым естественным образом разговор переключился на литературные темы. Тем более что повод был: Золотухин как бы имел право высказываться на сей предмет профессионально – как-никак журнал «Юность» (!) уже явил миру молодого прозаика. После тостов в честь дебютанта Высоцкий протянул Белле свежий номер «Литературки».

– Это, надо понимать, на «закуску»? – улыбнулась она.

– Что-то вроде того. Как тебе шедевры эпистолярного жанра твоих коллег? «Конец литературного власовца»! Просто за душу берет: «...Мы никогда не слышали от Солженицына ни одного слова в осуждение преступной фашистской хунты в Чили, в осуждение наглежащего фашизма в других странах, но сколько черных слов находит он, чтобы принизить, оболгать нашу страну, являющуюся светом, надеждой человечества, чтобы забросать грязью ее славу, ее идеалы... Считаю правильным решение о выдворении Солженицына за пределы нашей Родины».

Подпись – «Степан Щипачев». Бел, это ведь он, кажется, бессмертные строки о пионерском галстукке изрек – «Как повяжешь галстук, береги его: он ведь с нашим знаменем цвета одного...»? Верно? Ты его знаешь?

– Знаю, – невесело кивнула Белла. – Он мне очень помог в свое время. Ему, не помню уж кто, передал мои ученические стишки. Степан Петрович прочел и стал названивать моим родителям, хотел со мной повидаться, поговорить. Они подобным были сражены, считая мои литературные занятия лишь шалостью. А тут сам Щипачев! При этом такие комплименты...

– Да он просто клинья под тебя подбивал, – усмехнулся Высоцкий. – Тоже мне первооткрыватель формулы любви, которая – «не вздохни на скамейке и не прогулки при луне»... Козел старый...

– Во-первых, не такой уж старый, ему еще пятидесяти не было. А во-вторых, я от молодой гордости своей, скованностью и неуклюжестью как могла уклонялась от этих встреч. Но, тем не менее, он все-таки нашел возможность увидеться, поговорить, а потом помог напечататься. Но теперь... Не знаю... Заставили, скорее всего. Знаешь, ведь есть разные методы...

Помолчала. Потом добавила:

– Я помню одного потрясающего человека, которого всю жизнь подвергали гонениям, обыскам и всему прочему. За что? Просто за собственный способ мышления! Но в нем не было ущерба изгоя. Когда я его спросила, а как его дети переживают все эти обыски, он мне ответил: «Дети-то привыкли, а вот собачка очень нервничает».

* * *

Дружба для нее, как и для Высоцкого, была наиглавнейшей ценностью. Культ дружбы Ахмадулина воспевала с неистовою страстью и силой. Ибо знала: *«свирепей дружбы в мире нет любви»*.

У них были общие братья и сестры «по крови», по духу. И неприкаянный гениальный сценарист и поэт Геннадий Шпаликов, и великий мим Леонид Енгибаров, и бесконечно дорогой обоим все тот же Василий Шукшин, и редкостно талантливое киносемейство Кли-

мова-Шепитько, и неподражаемый Зиновий Гердт, фантастические Сергей Параджанов и Михаил Жванецкий...

С юности очарованная и благословенная Павлом Антокольским, Белла непременно стремилась познакомить Высоцкого с ним, хранителем традиций старой русской поэтической школы. «Однажды Владимир Семенович пришел и совпал у нас дома с Антокольским, – радовалась их случайной встрече Ахмадулина. – Павел Григорьевич много слышал о Высоцком, но никогда его не видел. И тут совпало чудо, и я – только счастливый свидетель этого совпадения.

Высоцкий и Антокольский замечательно разговаривали друг с другом, замечательно. Павел Григорьевич, как человек много старше, хотя, впрочем, совершенный ребенок, иногда капризно, а иногда нежно и влюбленно спрашивал у Высоцкого о том или о другом. И с необыкновенной нежностью Высоцкий отвечал Антокольскому. И, конечно, они поехали на улицу Щукина, где Павел Григорьевич жил. Совершенно обольщенный и очарованный, Антокольский хотел подарить все, что у него было. Свои книги, вообще все, что было. А уже потом матушка Владимира Семеновича Нина Максимовна спрашивала: «А почему в этот день осталось от Антокольского столько подарков Высоцкому? Они все подписаны...»

Если Высоцкий интерес к поэзии объяснял также личностями самих поэтов, которые вели себя в этой жизни достойно, то Ахмадулина полагала, что «поведение на белом свете – это все равно что поведение на сцене. Человек – всегда театр для другого. И поэт, и артист изначально трагедийны». В подтверждение приводила пример Енгибарова: «Мы с Леней сильно совпадали по душевному и сценическому устройству... У Лени был особенно трагический склад – как и подобает настоящему клоуну. Что-то гибельное. Плюс еще все не ладилось, кошмарное время... На меня это действовало иначе: неизбежно, но в общем-то я плевать хотела. Хотя трагедийность мне тоже присуща. Енгибаров однажды сказал: «Белла, вы должны со мной работать». Желтые розы, которые он принес в тот вечер, я долго хранила...» Как и слова, которые он произнес однажды, словно запоздалое признание в любви: «Беллочка, на всем белом свете есть только два трагических клоуна – ты и я...»

25 июля 1972 года стало последним днем жизни Енгибарова. В Москве тогда стояла небывалая жара и засуха. В пригороде горели торфяные болота, и воздух был таким, что в нескольких метрах человека невозможно было увидеть. Но смерть выцелила одного, самого незащищенного...

Владимир Высоцкий, потрясенный трагической гибелью друга, прощаясь, написал:

...Умер шут. Он воровал минуты —
Грустные минуты у людей.

Разве кто-нибудь мог тогда предположить, что именно 25 июля, пусть через восемь лет, в 1980-м, обернется проклятой датой и для самого Высоцкого?..

Владимиру Семеновичу так хотелось, чтобы те люди, чьей дружбой и талантами он особенно дорожил, стали близкими и для Беллы. Он с небывалой гордостью представлял ей легендарного золотоискателя Вадима Туманова. «У Володи был острый взгляд на жизнь. И ему были близки люди простые, честные, благородные, далекие от светских московских развлечений... Туманов показался мне немного медлительным, но в нем угадывалась какая-то огромная внутренняя сила... Все это было ново и волновало: артель, Сибирь, золотоискатели – смелые люди, официально получающие большие деньги...»

Для Туманова же главным было то, что «Белла была одной из немногих, кто действительно хотел, чтобы Володя был напечатан, очень старалась помочь...». В день знакомства у Беллы под руками как назло не оказалось ее сборника, и она подарила Вадиму Ивановичу свежий типографский оттиск стихов, надписав: «Дорогой мой, родной Вадим! Спасибо тебе

– за Володю, за меня – всегда буду верить, что твоя сердечная расточительность охранит твое сердце, твою жизнь. Всегда твоя Белла».

Когда она спустя годы читала (вернее, слушала чтение вслух) книгу жизни Туманова, ее поразил «этот шедевр человеческой доблести. Лагерные воспоминания вообще в принципе представляют ценность. А она еще и о том, как человек, не будучи подготовлен к страшным обстоятельствам, сохраняет честь, достоинство...».

Ей совершенно было чуждо определение «своего круга». Объясняла это просто: «У меня никогда не было своего круга, потому что у меня никогда не было тщеславия...» И добавляла: «В устройство моего характера очень прочно входит отстраненность обожания. Потом, по величию творчества человека всегда можно сказать о величии его души». Но не позволяла душевную близость с тем или иным человеком ставить в прямую зависимость от степени его таланта. Хотя однажды допустила легкую бестактность. Как-то из озорства, куража, может быть, настойчиво потребовала, чтобы на одной дружеской вечеринке по очереди выступали Михаил Жванецкий и Владимир Высоцкий. Слушала, до слез хохотала и аплодировала миниатюрам Жванецкого, потом застыла перед песнями-монологам Высоцкого. Помолчала, все взвесила и честно сказала: «Все-таки – Высоцкий!..» Вспоминая об этом случае, Михаил Михайлович с обезоруживающей улыбкой обреченно говорил: «Вот так я с этим и живу всю жизнь...»

* * *

Ахмадулина откровенно радовалась любовному союзу Марины Влади и Высоцкого, благословляла эту пару и даже немножко завидовала им. Не сдерживая чувств, писала на титуле своей новой книжки «Стихи»: «Володя, как я люблю тебя! Как я счастлива, что – ты! Марина, моя нежность к тебе, мое безмерное восхищение – как объяснить? Люблю. Целую. Белла».

А Марина говорила мужу о Белле: «Она живет в другом пространстве. У нее своя планета».

Мой подвиг одиночества нелеп,
И суд мой над собою безрассуден, —

с горечью сознавала Белла в канун своего тридцатилетия, потерпев уже две сердечные неудачи. Потом случилась еще одна – нелепый и угарный брак с сыном классика балкарской поэзии Кайсына Кулиева Эльдаром...

Только через десять лет она наконец-то обрела душевное равновесие и покой с художником Борисом Мессерером. Он станет для нежной и хрупкой женщины надежной жизненной опорой, станет тем, к кому она решит обращаться только так: «О, поводырь моей походки робкой».

Летом 1976-го Борис Асафович и Белла решили узаконить свои отношения. Тем днем, вернее, вечером, когда в мастерской Мессерера собрались самые близкие друзья, безусловно блистал Владимир Высоцкий, который весь вечер пел для невесты и жениха.

«С тех пор, – вспоминал Мессерер, – мы тесно дружили вчетвером»: Влади и Владимир, Белла и Борис. По его мнению, «произошло некое единение людей, проживающих похожую жизненную ситуацию. Мы с Беллой и Володя с Мариной совпали друг с другом в определенном возрасте и в определенном, довольно трудном соотношении, когда наши судьбы в значительной мере уже сложились. Все мы были достаточно известны и, быть может, даже знамениты. Каждому из нас надо было что-то в себе менять так или иначе, чтобы соответствовать друг другу. Но владевшая нами страсть... превозмогала те препоны, которые жизнь громоздила на нашем пути. И это нас сближало».

Их встречи происходили чуть ли не через день. Иногда на Поварской (Воровской), но чаще – в доме у Высоцкого на Малой Грузинской: «Там общаться было удобнее, потому что квартира отличается от мастерской большей приспособленностью к уюту, хотя все мы были «неуютные» люди и ощущали себя мятежными душами».

Обычно, созвонившись днем с Мариной, часам к девяти вечера они приезжали. У хозяйки уже был готов стол с прекрасными напитками и разнообразными угощениями. Владимир приезжал попозже, уже после спектакля. «В нашем с Мариной застолье, – рассказывал Борис Асафович, – Володя никогда не выпивал. Он рассказывал всякие театральные новости. Всегда был душой компании и всегда был на нервном подъеме. К концу ужина Володя говорил: «А хотите, я вам покажу... одну свою новую вещь?» Он брал гитару и начинал петь. Иногда врубал мощную технику и воспроизводил только что сделанную запись. И всегда это было для нас неожиданным, и всегда буквально пронзало сердце. Сидели допоздна – далеко за полночь. С ощущением праздника, который дарил нам Володя».

Конечно же, они встречались и случайно, на лету, без всякой чинной предварительной договоренности.

«Мы делаем крюк через заваленную всяким хламом, но уютную дачу Беллы Ахмадулиной, – вспоминала свои московские путешествия Марина Влади. – Чувствуется, что внешний вид дома не имеет никакого значения для хозяев. Мебель здесь совершенно случайная, чистота сомнительная. Кошки и собаки играют прямо на кроватях с детьми поэтессы... Если Белла дома, все затихают и лишь только слушают. Звучит ее неподражаемый голос, бледное трагическое лицо поднято к небу, шея напряжена, вены как будто готовы лопнуть – это и боль, и гнев, и любовь. Выпив немного вина, она раздражается веселым и свежим смехом, и время, остановленное на какой-то момент ее талантом, потекло вновь...»

Однажды волею судьбы Белла оказалась в Минске, на студии «Беларусьфильм», куда ее заманил знакомый режиссер Валерий Рубинчик. Он снимал картину о мальчишках и войне, но работа шла очень трудно. И тут режиссера осенила идея, он позвонил Белле, принялся жаловаться, что вот, мол, льет проливной дождь, а выпить нечего, фильм запрещают, говорят, что слишком мрачный... Может, нарифмуешь что-нибудь, Белла?.. Выручай!

Сценарий ей был знаком, он был трогателен и необычен. Она «нарифмовала»:

Жизнь давно разминулась с войной,
Но страданьем детей и поэтов
Неизбывных цветов и сонетов
На земле нескончаем венок...

И потом, по просьбе режисера, приехала на Минскую киностудию, чтобы записать на пленку закадровый текст.

В тот день работа длилась бесконечно долго, дубль за дублем. Барахлила техника, капризничал свет. Когда все наладилось и звукорежиссер дал отмашку, Белла вновь начала читать. Валерий Рубинчик любовался ею, тихо радовался тому, что она нежданно-негаданно подарила ему название для будущего фильма – «Венок сонетов». Но!.. Неожиданно дверь в студию решительно распахнулась, и на порог буквально влетели Высоцкий и Марина Влади. Откуда, как? Оказывается, в соседнем зале они записывали песни к какому-то фильму. Кажется, у Виктора Турова...

Уже облагодетельствованная белоруссами Белла тут же взялась теревить Высоцкого за рукав:

- Володя, а вот тебе деньжонки!
- Какие еще деньжонки? Ты что, с ума сошла?!
- А помнишь, я тебя просила, и ты мне тогда привез. Забыл? Позволь отдать...

Месяц назад, когда Белла сидела, как говорится, на нуле, сетуя на горькую судьбину по причине полного безденежья, она набрала номер телефона Высоцкого. «Он думал буквально полминуты, где взять деньги, – позже рассказывала она Марине, – а потом привез их. А ведь у него самого не было, он для меня достал!»

Теперь они счастливо смеялись в пустеющей студии, а Высоцкий все повторял смешные и странные слова Беллы: «Позволь отдать...», «Позволь отдать...». «А потом, – радостно вспоминала Ахмадулина, – они спешно забрали меня и увезли куда-то веселиться...»

В обыденной жизни манеры общения Беллы подчас были не отличимы от сценических. Ее речь, совершенно индивидуальная, изысканная, из ее уст лилась естественно. Она легко пользовалась не затертыми словами. Предпочитала говорить: «Мы еще совпадем на этом свете» – другой бы сказал просто: «Встретимся, увидимся» или – «Пока, до встречи». Белла не могла говорить «за границу», вернее, могла, конечно, но произносила по-своему – «чужестранствие». Возвращала словам первородство – «калитка», «привратник»... Везде и всюду следовала своему правилу: «Литература – есть искусство ставить слово после слова».

Люди недалекие, малообразованные посмеивались, но все-таки побаивались ее острого язычка.

Как-то в Доме литераторов, сидя за столиком, Ахмадулина заметила проходившую мимо известную женщину, в ту пору бывшую достаточно зловредным секретарем Союза писателей. Белла пригласила ее присесть, и гостя, пользуясь моментом, с ходу, под водочку, учинила пламенную политинформацию о падении нравов. Ахмадулина, вежливо выслушав гостью, кротко произнесла: «Вы знаете, я пригласила вас за стол как даму. А как секретаря Союза писателей я, простите, посылаю вас на...»

Куда уж было им, секретарям, переспорить Бродского, который считал Беллу Ахмадулину «несомненной наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии», поэтом, чей «стих размышляет, медитирует, отклоняется от темы; синтаксис – вязкий и гипнотический – в значительной мере продукт ее подлинного голоса». Он сравнивал ее поэзию с розой, при этом уточняя: «...сказанное подразумевает не благоухание, не цвет, но плотность лепестков и их закрученное, упругое распускание...»

А еще Белла очень любила получать от Высоцкого письма. «Радовалась, – говорила она, – когда Володя и Марина уезжали на автомобиле в Париж. Тогда я сидела возле окна и думала: как здорово, что они сейчас едут в этом автомобиле. И им хорошо вдвоем. Володя всегда мог написать строчку, после которой было хорошо несколько дней...»

Однажды из Германии ей с оказией передали коротенькое послание: «Беллечка дорогая, мы остановились в Кельне. Погуляли. Я про тебя думала и решила, через Бабека, который скоро приедет в Москву, тебе кое что передать. Вот Боре наски американские и громадный привет! Тебя я целую и люблю Марина» (своеобразие грамматики Марины Влади сохранено).

Дальше на той же открытке была приписка от Высоцкого:

Расположились мы нагло и вольно
В лучшей гостинице города Кельна!

И мы тебя целуем. А дальше – рифмуй, продолжаем бу-ри-м-е-е-. Целую тебя и Бориса. Володя. 6 января 1976».

Ахмадулина, конечно, не могла отмолчаться:

Продолжить повелел...
быть посему, Володя.
Мне страшно преступить
незнаемый рубеж

меж вечностью и днем,
где поступь Новогодья
в честь поросли молодой уже взяла
разбег.
Мысль о тебе ясна. Созвучья слов
окольные.
Но был чудесный день. Ты и Марина
в Кельне.
Так я пишу тебе вне правил буриме,
вне правил общих всех,
вне зауми решенья
тебе воздать хвалу, что, как хула,
скушна.
Солнце-морозный день, день
твоего рожденья.
Чу – благодать небес к нам, сирым,
снизошла.

25 января 1976».

* * *

...На Восточном вокзале в Париже московских гостей встречала Марина Влади. После объятий и поцелуев Ахмадулина уже на перроне стала интересоваться, откуда она может отправить телеграмму-«молнию» в Москву.

– Текст я набросала еще в поезде, – теребила она Марину. – А еще лучше было бы по телефону надиктовать его стенографистке...

– Хорошо-хорошо, – успокаивала ее Влади. – Сейчас приедем домой и сразу же позвоним... Подожди совсем немного. Жить вы будете у меня. На rue Rousselet – это такая маленькая, тихая улочка, у меня пустует небольшая квартирka с четырьмя крошечными комнатами. Я уже все подготовила. Вам будет уютно. Рядом «Бомарше», знаменитый парижский магазин...

Едва добравшись до улицы Рюссле, дамы сразу же принялись названивать в Москву, в редакцию «Литературной газеты». Белла продиктовала три фразы – «Алиса опять и всегда в Стране чудес, как в моем и в вашем детстве...». Потом потребовала, чтобы стенографистка перечитала ей продиктованное и попросила сделать приписку для дежурного редактора – «Это крайне, крайне важно! Обязательно вставить в мою заметку «Однажды в декабре». Что угодно можно сокращать, но это – обязательно оставить. Прошу. Очень прошу. Очень Ваша Белла».

Всё! Теперь можно взяться за чемоданы, разбирать вещи, приступать к раздаче рождественских подарков, принимать душ и – скорее на улицы Парижа!

– Марин, а можно будет еще раз позвонить, уточнить, дошла ли моя записка? – никак не могла уговориться Ахмадулина.

– Ну конечно, Беллочка. У меня открытый счет. Сколько угодно, куда угодно и кому угодно будем звонить. Володе в первую очередь. Но сначала – к столу!..

– ... вскипело!

Марина непонимающе посмотрела на Беллу: «Que?»

– Это выражение от Миши Жванецкого: «Прошу к столу – уже вскипело!»

Через три дня в Париж прилетел Высоцкий и вручил Белле тот самый номер «Литературки», который принес ему в театр Сева Абдулов: «Ваш автограф, мадам!»

«Он, – рассказывал Борис Мессерер, – будучи, как всегда, «на нерве», вносил в общую жизнь особое напряжение. Белла была тоже заряжена громадным нервным напряжением. И происходило нечто, похожее на вольтову дугу. Когда они встретились, перенапряжение в маленькой квартирке било через край, и наступала гроза с громом и молниями. Володя старался найти выход своей энергии и предлагал какие-нибудь неожиданные проекты...»

– Так, через час нас у себя ждет Миша Шемякин! – объявлял он, и все беспрекословно подчинялись его воле.

Гостей Шемякин принимал по московской привычке, конечно же, на кухне. Экстравагантная внешность и манеры художника сразу были разгаданы – вынужденная маска, и легкая настороженность, сковывавшая гостей при первом знакомстве, мгновенно улетучилась. Ну, а уж после второй-третьей, как приговаривал Высоцкий, «когда все уже друг друга любят...». Правда, Мессерер уточнял, выпивали, «собственно, только мы с Беллой, потому что Володя и Миша были «в завязке». Марина тоже выпивала свою рюмку, но у нее была отдельная бутылка виски, которую она носила в сумочке...».

На следующий день Высоцкий устраивал «культпоход в кино»: «Ребята, дома вы этого не увидите! Бертолуччи! «Последнее танго в Париже»! Вперед!» Вечером он, неугомонный, заваливал гостей книгами авторов, чьи имена в Союзе даже упоминать было... чревато: Александр Солженицын, Андрей Синявский, Владимир Максимов, Виктор Некрасов... Поэтические сборники Бродского, последние произведения Набокова... Кипы номеров журналов «Грани», «Континент»...

Увидев среди этого «полного собрания сочинений» скромную книжицу Ерофеева «Москва – Петушки», Белла восторженно ахнула:

– Веничка! Мы же его отлично знаем. Удивительный человек! Он сам поэма...

Высоцкий мигом раскрыл книгу и с особым чувством прочитал: «Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, – теряет и то, и другое. А в случае со «Слезой комсомолки» просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой слезы, – память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм – и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? И куда девалась вся твердая память?..»

Друзья захохотали, а Высоцкий, указывая на Беллу, подносящую платочек к глазам (чтобы тушь не потекла!), озорно подмигнул: «А вот вам и слеза комсомолки!» И продолжил, смакуя: «...Даже сам рецепт «Слезы» благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, лишился.

Лаванда – 15 г. Вербена – 15 г. Одеколон «Лесная вода» – 50 г. Лак для ногтей – 2 г. Зубной эликсир – 150 г. Лимонад – 150 г.

Приготовленную таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек – но вы меня не заставьте помешивать повиликой «Слезу комсомолки», я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь от смеха, когда при мне помешают «Слезу» не жимолостью, а повиликой...»

Высоцкий хлопнул в ладоши: «Мать, а где у нас жимолость?!» – «Да у нас, милый, даже зубного эликсира-то не осталось», – тут же отозвалась Марина с грустью и сожалением пассажирки, только что выпавшей на перрон Курского вокзала из пригородного поезда «Москва – Петушки».

– Вы, может, не знаете, как Веничка оценивает людей, – спохватился Мессерер. – Если ему человек не нравится, он говорит: «Я ему ничего не налью». Когда речь заходит о ком-то из друзей, например о Битове, говорит: «Ну, Битову налью полстакана»...

– А ко мне Веничка благоволит, – не удержалась Белла. – Уж кому-кому, говорит, а Ахатовне я стакан бы налил. Вот!

– Я тоже, – сказал Высоцкий и подлил в ее бокал коньяку.

Назавтра он улетел в Москву – вечером на Таганке был «Гамлет». А Марина отправлялась в Будапешт, где снималась в фильме «Их двое». На время своих отлучек опекать гостей они поручали Мише Шемякину. Ахмадулина и Мессерер бывали на открытии персональной выставки своего старого знакомого Эдика Штейнберга, в мастерской Оскара Рабина. А вечером Шемякин устраивал для москвичей гулянки в шикарных парижских кабаках, где его прекрасно знали и старались угодить. Миша заказывал мясо «a la Shatobrian» и красное вино, одаривал гостей корзинами роз...

Когда из разных стран в Париж вновь слетались Владимир и Марина, феерия продолжалась. Однажды Марина пригласила Беллу и Бориса в гости к своей подруге Симоне Синьоре... Потом организовала свидания с другими легендарными знаменитостями – драматургом Эженом Ионеско, режиссером Милошем Форманом. А сколь радостно-горькими были встречи со вчерашними соотечественниками Викой Некрасовой, Мстиславом Ростроповичем, Мишей Барышниковым!.. «*Распространение наше по планете*», — азартно пел Высоцкий и усиленно рекомендовал всем приглашенным коктейли по-ерофеевски: «если недостает ингредиентов для «Слезы комсомолки», неплохо бы отдаться «Хаананскому бальзаму» – ах, дефицит денатурата и политуры очищенной?! – тогда извольте, мадам, подать на стол «Сучий потрох»!

Как-то московские гости заблудились в «джунглях Парижа» и с огромными трудностями набрали-таки на дорогу, ведущую к улице Рюссле. Встречая гостей у порога, Высоцкий задумчиво сказал: «Знаешь, Белла, в одном я тебя все-таки превзошел». – «Да что ты, Володя! – засмеялась измученная Белла. – Ты меня во всем превзошел!» – «Да нет. Я ориентируюсь на местности еще хуже, чем ты...»

Но, конечно, легендарный ресторан «Распутин» Высоцкий, безусловно, мог отыскать даже с закрытыми глазами. Он водил туда гостей слушать Алешу Дмитриевича. Иногда к ним присоединялся Костя Казанский, Костя-болгарин, великолепный аранжировщик и гитарист, с которым Владимир как раз в те дни работал над записями своего будущего парижского диска.

К ним за столик после своего выступления подсаживался колоритный Алеша Дмитриевич, представитель великой династии, ублажавшей своим искусством не одно поколение русской эмиграции. Слушая его, Ахмадулина шептала Высоцкому: «Господи, Володя, на каком языке он поет?! Давай напишем ему слова!» А Владимир отвечал: «Оставь, Белла, это его язык, русский. Язык Алешы Дмитриевича!»

Бывало, после «Распутина» всей компанией они отправлялись в другой русский ресторан, «Царевич», – «*французские бесы – большие балбесы. Но тоже умеют кружить!*...» — где блистал патриарх ночного Парижа Владимир Поляков...

Когда наконец все оказывались в домашнем тепле на rue Rousselet, «темой наших разговоров, — вспоминал Мессерер, — всегда становилась одна: как сделать так, чтобы Володя мог подольше оставаться в Париже. Занятость Высоцкого в любимовском театре была чрезвычайно высокой. Из Москвы то и дело раздавались звонки с требованием приезда на очередной спектакль. Особенно часто тогда шел «Гамлет». Без участия Высоцкого спектакль был невыносим. Потом Володя возвращался, пару дней осматривался, в лучшем случае давал один-два концерта и должен был вылетать обратно в Москву. Больно было смотреть на это существование урывками...»

В московском доме у Беллы Ахатовны хранился волшебный шарик. Подарил его один немецкий поэт-переводчик. Однажды она заметила, что в этом шарике что-то есть. Дети в него глядели, уходили с ним куда-то, загадывали какие-то свои желания. Некоторые исполнялись, и это называлось «сиянием стеклянного шарика». Перед поездкой во Францию Ахмадулина «попросила стеклянный шарик» исполнить мечту – дать ей шанс поклониться Владимиру Набокову. И такая встреча состоялась!

«Когда мы, вопреки положенному сюжету судьбы, — делилась своими впечатлениями Белла, — оказались под Рождество в Париже, я, совершенно ни на что не рассчитывая, написала

письмо Набокову, всю ночь писала, никак не полагая, что я его увижу. Тем не менее мне сразу же позвонила его сестра, сказала, что ее брат сразу же заметил мое письмо и приглашает нас к себе... Я любовалась Набоковым, восхищалась им и поражалась, как величие этого человека совпадает с его обликом, образом...

Потом, по возвращении в Париж, будучи на балете Бежара, Белла Ахатовна обратила внимание, что маэстро в роли короля Лира вышел на сцену с шариком, подобным ее собственному, только побольше. Ей объяснили, что этот шар считается гадательным, предсказательным. «Но у меня была игрушка, – ясно видела Ахмадулина, – а вот то, что держал в руках Бежар, это совсем другое. Конечно, магия есть. Есть эти таинственные силы – силы, связывающие сердца. А иначе – зачем все?..»

* * *

«Я имела счастье числиться в его товарищах, – с гордостью не раз повторяла Белла Ахмадулина, вспоминая Высоцкого. – При мне он нисколько не тушевался. Я уверена, что свое место он знал и знал, что место это единственное. Но при этом он искал суверенности, независимости от театра, от всего, чему он что-то должен. Ему, конечно, больше всего хотелось писать... Он искал подтверждения своей литературности...

О, если бы вы только знали, как желала я тогда, чтобы его печатали! Как вредило ему, что стихи не печатались. Он вытягивал голосом по три варианта строки, а решения – ни одного...»

Наконец, уловив подходящий момент (Белла выяснила, что составителем очередного выпуска традиционного альманаха «День поэзии» будет Петр Вегин, *«проверенный, наш товарищ»*, а главным редактором Евгений Винокуров, тот самый ее наставник по литстудии при ЗИЛе), Ахмадулина передала Вегину подборку стихов Высоцкого. При этом уговаривая, объясняя, что это непременно надо пробить.

– Беллочка, что же ты меня-то агитируешь? – возмущался Петр. – Ты лучше подготовь свои стихи...

– Ах да!.. Но ты не забудь. Богом тебя прошу, не забудь про Володиных стихи...

Интрига удалась. И Винокуров, умница, оказался на высоте. Прикинув, что к чему, сказал: «Попробуем. Сделаем вид, что мы не знаем, кто такой Высоцкий...» Правда, подписывая альманах в печать, главный редактор издательства «Советский писатель» Карпова вымарала две строфы из «Дорожного дневника». Ахмадулина переживала: «Оно было искажено, что-то там выкинули...»

Но, тем не менее, ура! В печати – «День поэзии 1975» – впервые появилось большое стихотворение поэта Владимира Высоцкого «Ожидание длилось, а проводы были недолги...», стихотворение! – а не просто текст песни с нотами «О друге»... Автор ликовал: «Размочили!» Но Белле устало выговаривал: «Ну, зачем ты это делаешь?»

В какой-то момент Ахмадулиной казалось, что ее союзником в «деле Высоцкого» может стать поэт Луконин. Михаил Кузьмич был человеком влиятельным и авторитетным, входил в состав правления Союза писателей СССР, возглавлял столичную писательскую организацию, и в то же время был простецким, с юмором мужиком.

Волей случая оказавшись в гостях у радушных Лукониных, Белла, как бы между делом, завела разговор с Михаилом Кузьмичом, Мишей, о непростой судьбе Высоцкого, о его проблемах с публикациями. Обстановка располагала, тосты следовали один за другим, сердечная подруга поэта Аня расстаралась, накрыв прекрасный стол. Да и сам Луконин казался Белле и Борису всепонимающим человеком.

Белла говорила:

– Миша, может, можно как-то Высоцкому помочь – он беззащитный человек, как все актеры, подвластный режиссеру. Но в театре ему уже разрешают петь его песни со сцены. Это

уже немало, значит, нет полного запрета на его творчество. Пластинки хоть понемногу, но выходят. Вот в «Дне поэзии» напечатаны его стихи. Может быть, все-таки примете его в Союз писателей?

– Только через мой труп! – отрезал Луконин.

«Понять отказ Луконина мы не могли, – вспоминал свое разочарование Мессерер. – Было очевидно, что стихи Пастернака не должны ему нравиться... Со стихами Бродского он вряд ли был знаком... Но почему он при этом не воспринимал стихи Высоцкого, было непостижимо. Я думаю, разгадка в том, что он был насквозь проникнут советской идеологией...»

Белла Ахатовна по себе прекрасно знала, как трудно, когда тебя не печатают. Высоцкого не печатали, и это было чем-то причиняющим ему непрерывную боль. Потому-то он с готовностью отозвался на предложение Василия Аксенова опубликовать свои стихи хотя бы в полуподпольном альманахе «МетрОполь»: «Ребята, берите все, что хотите!» Тем более в такой компании – Андрей Вознесенский... Фазиль Искандер... Андрей Битов... Юз Алешковский... Фридрих Горенштейн... Разумеется, сам мэтр Василий Павлович Аксенов в обнимку с Апдайком... И, конечно же, Белла Ахмадулина... Да после каждой фамилии стоило было ставить восклицательный знак!

На дворе миротворствовал глухой застой, в литературе – «состояние тихого перепуга». В названии альманаха его составители попытались зашифровать распространенное в те годы противопоставление эмигрантской литературы и «метрополии». Но под обложкой не было никакой «антисоветчины». Просто авторы решили создать сборник «отверженной литературы», опубликовав свои произведения в обход – нет-нет, в укор! – цензуре.

«Мы думали, – рассказывала Белла, – как хорошо, что наша дурашливость оказалась гораздо умнее злости и ограниченности этих... дураков. Мне кажется, главное достижение «МетрОполя» было в том, что молодые поэты получили возможность напечатать то, что они хотели, хотя бы даже в машинописном варианте. Если бы вы видели, какая для Володи Высоцкого это была радость! Он ощутил себя поэтом, признанным!.. Это появление в сборнике очень важным было для него, очень...»

Когда в квартире матушки Аксенова Евгении Семеновны Гинзбург на Красноармейской подпольщикам-метропольцам стало тесновато, они перебрались на Поварскую, в мастерскую Мессерера. Тем более что Борис изъявил желание принять живое участие в художественном оформлении альманаха: он придумал фронтиспис и бренд – граммофон.

«Володя Высоцкий приезжал все время с гитарой и пел, – вспоминал «золотые денечки» хозяин штаб-квартиры редколлегии. – Он сидел здесь, в моей мастерской, правил машинописные копии, исправлял огрехи... Ведь в голосе песни звучит иначе, голосом можно что-то исправить, подать... а в напечатанном виде вылезают какие-то неточности, слабые рифмы. И эта его правка была как бы дополнительным штрихом к тому ощущению свободы и первозданности, которое мы чувствовали, выпуская «МетрОполь».

Очень скоро прижилась традиция: когда Высоцкий звонил в дверь, на вопрос хозяев «Кто там?» он громогласно вопрошал: «Здесь делают фальшивые деньги?» Все хохотали, понимая, что получат за свои дела по зубам.

Душой «подпольного» сообщества была, естественно, Белла. Один из инициаторов создания альманаха, молодой прозаик Виктор Ерофеев, впервые увидев ее, был ошеломлен: «Она меня, конечно, полностью очаровала. Она сочетала в себе божество и принцессу. С одной стороны, ее поэзия была очищена от всякого советизма, а с другой – это была молодая женщина, ужасно привлекательная, острая, своенравная, высокомерная, в общем, все там переплеталось. Образ, конечно, был величавый. В альманах Ахмадулина отдала свою повесть «Много собак и собака»... Но дальше она была просто гостеприимной хозяйкой... Альманах «МетрОполь» просто отдыхал у нее на чердаке. А когда мы собирались, дело никогда не доходило до чая. В доме чая не было. Была выпивка – в основном, водка, но, с другой стороны, было много

шампанского. А к выпивке было что-то, нечто, закуска, но никогда не было изысканной еды. Пили все...»

А Высоцкий пел, и Белла читала стихи. «Она это делала не часто, – рассказывал однофамилец разработчика рецептуры уникальных коктейлей, – ее надо было попросить. Но она их читала и во время застолий тоже. Вставала, закладывала руки за спину, поднимала высоко подбородок и читала стихи таким серебристым голосом. Всегда одетая в черное: в черные брюки, в черную блузу или какой-то пиджачок. В общем, она всегда была черная или белая...

На чердаке была вторая столица России. Первая, первый центр был Кремль, а вторая – чердак Ахмадулиной...»

«Мы были в унынии после очередного погрома, – вспоминал Василий Аксенов, – подташнивало от очередных мерзостей секретаришек, наших же бывших товарищей. Володя спел нам тогда две вещи, старую – про Джона Ланкастера и совсем тогда новую – «...мы больше не волки»... Все переменялось волшебным образом. Волна братства и вдохновения подхватила нас».

Затеявая свою «дурашливость», многоопытные и «закаленные в боях» Аксенов, Ахмадулина, Битов и другие, «из породы битых, но живучих», конечно, прекрасно понимали, чем все это и для всех может закончиться. Но бодрились. Белла говорила: «Я вовсе не боюсь за себя. Но мне знаком страх за товарищей». Иногда шутила, обращаясь к Высоцкому: «Володька, меня скоро выгонят из Союза писателей, иди на мое место...» И, отвернувшись в сторону, шептала, ни к кому персонально не обращаясь: «Союз писателей... того не стоит... Мне кажется, ему там не место».

Когда «Метрополь» наконец окончательно созрел, его переплели в шикарную обложку, и составители отнесли один экземпляр в Союз писателей, а второй в ВААП – для издания за рубежом. И тут началось глумливое обсуждение представленных произведений.

Чиновники тут же заклеили Ахмадулину как проститутку и наркоманку. Когда документы Ерофеева и Попова на прием в Союз писателей отложили на «неопределенный срок», Белла вместе с Аксеновым, Семеном Липкиным, Битовым, Искандером, Инной Лиснянской заявила, что в знак протеста выходит из писательской организации. Молодежь старалась их отговаривать.

Да что там этот членский билет? «Нужно было себя так настроить, чтобы их не бояться, – советовала Белла. – И не утратить достоинства. Они же как-то со мной пытались соотноситься. Могли награждать. Или пугать. Или угнетать. А самым примитивным способом наказывать или развращать являлась граница. Однако я смолodu решила, что никогда не надо думать: поедешь – не поедешь? Такого искушения для меня быть не может. А ведь на этом многие рушились. Понимаете, человеку действительно тесно. У него нечто вроде клаустрофобии начинается. Почему – нельзя? У меня этого не было. Я же беспрерывно за кого-то заступалась. И сразу: «Никуда, никогда...» Ну и ладно. Страна большая. В ней хватит места. И Франция без меня обойдется. И я без нее. Верно?...»

Был такой Виктор Николаевич Ильин в Союзе писателей. Куратор от КГБ, генерал. Чего не скрывал. Однажды этот добрый и лукавый «баснописец» намекнул ей без свидетелей: «Первый раз прощается. Второй раз запрещается. А на третий – навсегда! – закрываем ворота».

– Посольские? – попыталась сострить она.

– А ты, – он к ней на «ты» обращался, – думаешь, нет? Такая недотрога, да?..

Конечно же, подобное тревожило. Но и воспитывало тоже: «А вы попробуйте!» Нет, прямо в лоб она так ему не отвечала. Но поведением демонстрировала.

«Я понимаю и замечаю свое отличие от всех или многих, – говорила Ахмадулина. – Другого устройства растение. Вероятно, я отличаюсь в другую сторону. Но среди одобряемых качеств – дерзость по отношению к власти. Допустим, раньше все время были какие-то доносы. Я даже не интересовалась авторством. Меня спросили: «Вы хотите узнать?» Я говорю: «Зачем?»

Узнать, что каждый третий был осведомителем?» Нет, меня это особенно не трогает. Я писала и писала...»

* * *

Год следующий, 1980-й, выдался зловеще черным. Кровавое побоище в Афганистане. В январе арестовали и отправили в горьковскую ссылку академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Газеты, точь-в-точь по солженицынскому сценарию, подняли «эпистолярную волну». Опального ученого хулили все, кому не лень, – от Героев Социалистического Труда штамповщицы К. Артемовой и горнового Е. Борзенкова до людей с легкоузнаваемыми фамилиями – писателей Айтматова и Быкова, Сергея Михалкова и Симонова, композитора Шостаковича, академика Келдыша... Ба, а вот и до боли знакомые имена – все те же Миша Луконин, Степан Петрович Щипачев... А вот и родственничек Беллы подпрягся, голос подал – Родион Щедрин, муж Майи Плисецкой. Как там его, бишь? Деверь? Свояк? Шурин? И сразу на выручку подоспела уморительно смешная строчка из Высоцкого – *«шурин мой белогорячий. Но ведь шурин не родня!..»*

Горе ты мое луковое, Родион, тебе-то чего не хватает?.. Пожалуй, в те минуты неправимого душевного огорчения и разочарования ее посетила мысль: «Лишь великие избранники уравнивают человеческие злодеяния. Был Рафаэль, был Леонардо по одну сторону, и тысячи преступлений – по другую. Но, разумеется, не одни великие имена значимы для продолжения добра в мире».

Белла решила не отступать от столь полюбившегося в Союзе эпистолярного жанра общения. Ее письмо в защиту Сахарова уже 1 февраля, то есть тотчас же после повального «осуждения» академика, появилось в печати. Но в «Нью-Йорк таймс».

«Когда человек заступает за человечество, это значит, что он ничего не боится. Он боится лишь за человечество.

Но я человек всего лишь. И я боюсь. Я боюсь за этого человека. И, конечно, за человечество.

Но что еще я могу сделать?

И – если нет других академиков, чтобы заступиться за академика Сахарова,

то вот я —

Белла Ахмадулина, почетный член Американской академии искусств и письменности».

А чуть позже случилось странное, очень странное совпадение. Ахмадулина рассказывала: «Вдруг в это время совершенно неожиданно получаю от геолога с Крайнего Севера необычный подарок: красные жесткие волосы мамонтенка, который погиб в ледниковый период. Меня эти волосы опечалили. «Ну почему он погиб, бедный?» – думала я.

Жену Сахарова тогда еще не сослали в Горький. Она находилась в Москве. И я, получая от людей письма, посвященные Сахарову, уничтожала на них обратный адрес и отдавала их жене, чтобы они не думали, что одиноки. В этих письмах были пожелания здоровья, мужества. И вот я передаю их Елене Георгиевне, а еще свою любимую иконку в придачу. А она грустно так говорит: «Зачем ему икона? Он не верит в Бога!» – «Да он сам такой. Ему можно», – тогда ответила я ей. Действительно, он шел на распятие за свои идеи. И вдруг Елена Георгиевна говорит: «Он любит мамонтенка».

Борис помчался к нам домой на Поварскую за этими волосами мамонтенка. Я передала их жене Сахарова. И потом ответила геологу: «Я благодарю вас за бесценный подарок. Мне грустно, но я отдала его тому человеку, который сейчас более всего нуждается в любви». Геолог

мне ответил в письме: «Я все понял». Тогда вся страна переживала за Андрея Дмитриевича, так что было нетрудно догадаться, о ком я говорю».

Поэт Ахмадулина никогда не стремилась в политику, зачем она ей? Ведь стихи поэта – лучший способ совести. Но нечаянно получается, но это не политика, а жизнь...

Михаил Жванецкий восхищался ею: «Белла была мужественна по-женски! И абсолютно по-женски, прикидываясь наивной, с кокетством она обращалась к генеральному секретарю ЦК КПСС: «Ну, нельзя ли вернуть из ссылки Сахарова?..»

Конечно, она не надеялась спасти Андрея Дмитриевича, просто хотела ему хоть чем-то помочь: «Могла ли я думать, что меня послушают? Нет, но я думала, что меня услышат. Я спасала себя, свою совесть. Я ждала для себя многих жизненных осложнений, но они были для меня предпочтительнее».

Летом новая потеря: навсегда уезжал на Запад Василий Аксенов.

Потом...

«Буквально через несколько дней Василий позвонил нам из Парижа, – рассказывал Борис Мессерер. – Он хотел нас приветствовать звонком из свободного мира. Но в ту минуту, когда Белла взяла трубку, я увидел в проеме окна идущего по крыше художника Митю Бисти, моего соседа по мастерской. Он встал прямо перед окном и сказал:

– Умер Володя Высоцкий...

А в трубке слышался звеняще-бодрый голос Аксенова:

– Ну что у вас, Белка? Как дела?

– Володя умер, – Белла машинально повторила только что услышанные от Мити Бисти слова.

– Нет! – раздался чудовищный стон Аксенова. – Этого не может быть! Не может!

– Увы, но это так...»

Потом, попозже, чуть-чуть придя в себя, собравшись с силами и мыслями, Ахмадулина написала Аксеновым, Василию и Майе: «Смерть Володи (не знаю, что ужасней: быть вдали или совсем вблизи). Ужасное влияние этой смерти на всех людей и на ощущение собственной неиссякаемой жизни».

Гибель Высоцкого утвердила ее в мысли: «Уверена, что судьба поэта predetermined. Он так не случаен (впрочем, я думаю, что и никто на свете не случаен, всем судьбам есть объяснение), этот человек наиболее призванный к трагическому способу существования. Он, как правило, не задерживается на белом свете, и удел других спасти его, но обычно из таких попыток ничего не выходит...»

Ей не позволили прочесть стихи на похоронах Владимира Семеновича Высоцкого. Только на поминках...

Твой случай таков, что мужи
этих мест и предместий
Белее Офелии бродят
с безумьем во взоре.
Нам, виды выдавшим, ответствуй,
как деве прелестной:
Так – быть? Или – как? Что решил ты
в своем Эльсиноре?
Пусть каждый в своем Эльсиноре
решает как может.
Дарующий радость, ты —
щедрый даритель страданья.
Но Дании всякой нам данной

тот славу умножит,
Кто подданных души
возвысит до слез, до рыдания.
Спасение в том, что сумели
собраться на площадь
Не сбором сброды, бегущим
взглянуть на Нерона,
А стройным собором собратьев,
отринувших пошлость.
Народ – невредим, если боль о певце —
всемирна.
Народ, народившись, – не неуч,
он ныне и присно
Не слушатель вздора и не покупатель
вещицы.
Певца обожая – расплачемся.
Доблестна тризна.
Так быть? Или как? Мне как быть?
Не взыщите.
Люблю и хвалю не отвергнутого
гибельной чаши.
В обнимку уходим – все дальше, все выше,
все чище.
Не скредны мы – и сердца
разрываются наши.
Лишь так справедливо. Ведь если не наши,
то чьи же?

Уже 1 августа 1980-го, буквально через неделю после смерти Высоцкого, в Театре на Таганке Юрий Петрович Любимов экстренно собрал художественный совет. На повестке дня значился один вопрос – о будущем спектакле памяти Владимира Высоцкого. Идей выплескивалось много. Ахмадулина внимала каждой. Но только в конце заседания отважилась высказаться:

– Что бы вы ни решили, я предлагаю свое участие. В любой форме, которая вам понравилась. По просьбе консерватории я работала над текстом Шекспира для «Ромео и Джульетты» Берлиоза. И оказалось, что можно целеустремленно изменить текст. И получилось не кощунство. Шекспир это позволяет...

Ее услышала Алла Демидова, подчеркнув, что шекспировский «Гамлет» будет держать спектакль в память Высоцкого: «Если нам нужен кусочек маленький «Гамлета», мы его берем, а дальше идет импровизация открытым приемом, чтобы протянуть линию поколения...»

Ахмадулина тут же подхватила:

– В смысле голоса его. Все должны играть – чтоб на его месте остался пробел. Его место безмолвно – он отвечает шекспировским безмолвием. Текст могут сделать литераторы.

Как режиссер, Любимов ловит идею на лету: «Вы сказали, Белла, очень интересную мысль. Этим приемом можно довести до отчаяния». У Демидовой свое видение: «Это можно сыграть, если сначала будет его голос».

Но Белла Ахмадулина решительно возражает: «Не надо голоса. Пусть будет пустота. Бейтесь в нее – нет его». На ее стороне главный режиссер. Он размышляет вслух: «Это и есть –

«распалась связь времен». Мы ищем трещины. Пустота. Мы ищем, чтоб хоть чем-то ее заполнить...»

Потом настала осень. 22 октября, как и договаривались, вновь собрался худсовет.

Прост путь к свободе, к ясности ума –
Достаточно, чтобы озябли ноги.
Осенние прогулки вдоль дороги
Располагают к этому весьма.

Грипп в октябре всевидящ, как господь.
Как ангелы на крыльях стрекозиных,
Слетают насморки с небес предзимних
И нашу околдовывают плоть...

Кроме театральных, участвовали приглашенные – композитор Альфред Шнитке, писатель Борис Можаев, философ и литератор Юрий Карякин, поэт Андрей Вознесенский, критик Наталья Крымова и, конечно, Белла Ахатовна с Борисом Мессерером.

Белла держала большую речь:

– Я думаю, что нам стало ясно только одно – спектакль должен быть. В нем должны участвовать друзья Володи, люди, которые его любили. Неизвестно, во что он расцветет. Но я знаю, чего в нем не должно быть. Во-первых, никакой расплывчатости идеи. Канва должна быть стройная и строгая до совершенной грациозности и до совершенной мрачности. Потому что есть много воспоминаний, анкет, и театр не может за ними тянуться и угнаться. Идея должна быть непоколебимым позвоночником. Абсолютно прямым и стройным. Какова она будет, не знаю. В ней не должно быть лишней разветвленности...

И еще про песни. Труппа будет сталкиваться с самым сладостным и самым обязательным соблазном отдать публике то, чего она, собственно, и ждет, – Володин голос. Но опять-таки в эту стройность решения входит точная мысль о мере участия Володиного голоса в спектакле. Потому что должна быть, как и всегда у «Таганки», суверенность театра, независимость вообще ото всего. Вы не можете отдать страждущей публике Высоцкого. Он – самая надрывная ее часть. Все равно будет недовольна, она придет спросить вас: «Где Он?» Так она и спрашивает.

А вы не можете сказать – где, потому что мы знаем только одно: он не пришел, потому что занят, занят настолько, что не смог сейчас прийти к Гамлету, занят своим вечным занятием...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.